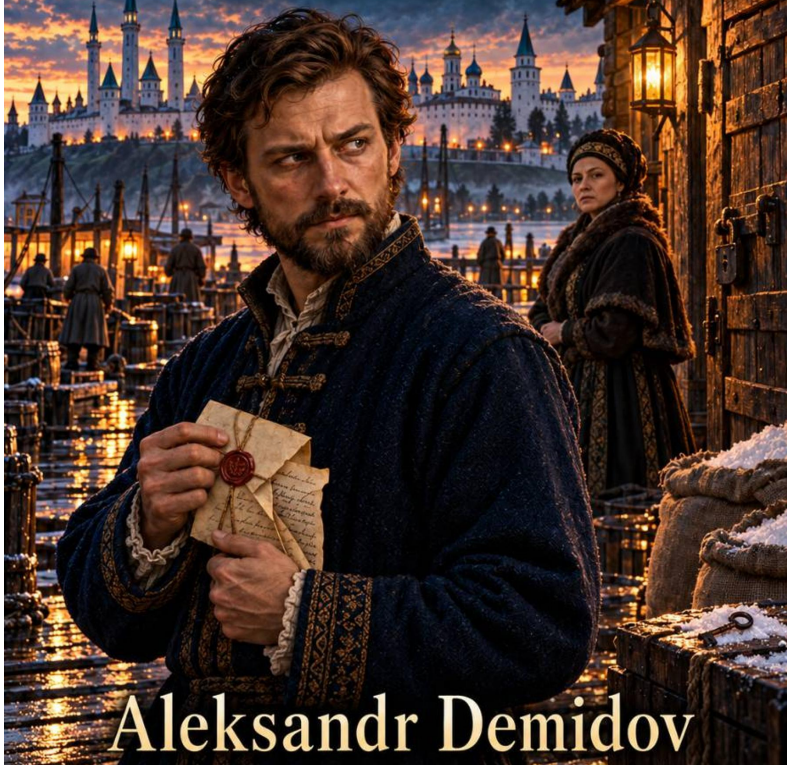


ПОДЪЯЧИЙ ЕРШОВ • КНИГА 5

КРЕПОСТЬ НА ВДОВУ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ



Aleksandr Demidov

Aleksandr Demidov

Крепость на вдову

<https://litres.ru/74677593>

SelfPub; 2026

Аннотация

Казань, 1661 год. Вдова Аграфена Кондратьева признаёт свою руку под кабалой — но отказывается платить по ней. Купец Сабуров требует восемьдесят рублей серебром, её дом и амбары. Свидетели подтверждают сделку. Печати целы. Подписи настоящие. Значит, лжёт вдова?

Сосланный московский подьячий Тимофей Ершов привык доверять бумаге больше, чем людям. Но теперь ему предстоит доказать невозможное: подлинная грамота тоже может быть ложью.

За одиннадцатью строками скрывается тщательно рассчитанный подлог. За ним — большие деньги, разорённая торговля и человек, уверенный, что имеет право исправить несправедливость преступлением. А чем ближе Ершов подходит к разгадке, тем выше цена его собственной привычки записывать всё.

Исторический детектив, в котором преступление спрятано не в крови, а в нескольких словах старой кабалы.

Содержание

Первый струг	6
Крепость на вдову	16
Под печатью	26
Шесть послухов	35
Площадной	44
Счёт Сабурова	52
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Aleksandr Demidov

Крепость на вдову

Александр Демидов

Крепость

на вдову

Исторический детектив

Серия «Подьячий Ершов»

Книга пятая

Оглавление

Первый струг 3

Крепость на вдову 12

Под печатью 21

Шесть послухов 29

Площадной 37

Счёт Сабурова 44

Один амбар 51

По сствам 58

Что она подписала 64

Думать пером 72

Слово полонянки 81

Челобитная 90

Отдал сам 99

Не чтоб ты записал 108

Без кредита 114
Письмо в Москву 123
На ощупь 131
Над паром 138
Гуриев товар 145
Нижегородский след 153
Через Акулину 162
Обрезок 171
Своя правда 181
Двадцать пятый 189
ГЛАВА ПЕРВАЯ

Первый струг

— «Дорофею Лыскову», — сказала Аграфена. — Написал?

— Написал, — сказал Сенька.

— Покажи.

Сенька показал. Аграфена посмотрела на лист, держа его на вытянутой руке, как держат рыбу, про которую ещё не решились, свежая ли.

— Это что?

— Дорофей.

— Это не Дорофей. Это частокол из досок и тот кривой.

— Это я с наклоном, — сказал Сенька. — Так в приказной пишут. Дьяк говорит: с наклоном — значит, человек торопится по государеву делу.

— Дорофей не государево дело, — сказала Аграфена. — Дорофей — мой приказчик в Нижнем, и он, когда твой частокол получит, пойдёт к попу читать, а поп с него за это возьмёт денгу. — Она отдала лист. — Пиши прямо. Без наклону. Я тебе не дьяк.

Сенька вздохнул и стал писать прямо. Прямо у него выходило ещё хуже, чем с наклоном, но Аграфена смотрела в окно и не видела.

Был четверг на неделе Жён-мироносиц, и лёд прошёл десять дней назад. Казанка вздулась и вылезла на луга, Булак

стоял ровень с мостками, и в нижних улицах Бакалды по дворам ходили в сапогах до колен, и куры сидели на заборах, как вороны. На Волге, у пристани, со вчерашнего дня стоял первый струг с Камы. Небольшой, лаишевский, с солью перекупной, не суринской, — суринские караваны шли позже, — и на струге, как говорили, было три тысячи пудов, и все три тысячи ждала вся Казань, потому что за зиму соль выели до дна, и на торгу её продавали горстями, как изюм.

Из трёх тысяч Аграфена взяла на готовые деньги двести пудов. Больше не было денег. Двести пудов — это было меньше, чем она брала прежде за один раз на пробу. Но и двести пудов надо было свезти с пристани в её амбары, а дороги по Бакалде развезло так, что подводы стоили теперь вдвое: после ледохода они были нужны всем.

— Пиши, — сказала Аграфена. — «Соли ныне взяла с лаишевского струга двести пуд, по пяти алтын две деньги пуд серебром, а медью...» — Она остановилась. — Медью не пиши. Медью ему знать не надо. «...а на двести пуд выходит...»

Сенька поднял голову.

— Сколько выходит?

— Ты посчитай.

Сенька стал считать. Он считал на пальцах и шевелил губами, и пальцев ему не хватало, и он взял второй рукой счётную палочку со стола и начал резать зарубки.

— Тридцать три рубля и... — сказал он, — и... шестнадцать алтын и четыре деньги.

— Тридцать два рубля, — сказала Аграфена, не оборачиваясь от окна. — Ровно. Пиши.

Сенька написал.

— А зачем вы меня спрашиваете, коли сами знаете?

— Затем, что мне надо знать, насколько ты в бумагах будешь ошибаться, ежели я над головой стоять не буду, — сказала Аграфена. — Чтоб я знала, сколько тебе алтын не доплатить.

В сенях хлопнула дверь. Тихон сказал «подьячий», и в горницу вошёл Ершов, с шапкой в руке и с бумагой за пазухой.

Он ходил к Аграфене теперь по вторникам, с письмами для Ганны, а по пятницам — просто так, не по делу, и пил сбитень, в котором мёду было в меру. Сегодня был четверг. Аграфена посмотрела на него, потом на дверь задней избы, где сидела Ганна.

— Не вторник, — сказала она.

— Ответ пришёл, — сказал Ершов. — Из Нижнего. Через Ахметку. Надо, чтоб она прочла, пока он не уехал обратно.

Аграфена кивнула на дверь.

— Там. Пишет. — Она подумала. — Хотя что ей теперь писать. Мои у неё отняли. Сидит, рубахи мне перешивает. Хорошо перешивает. Лучше, чем писала. — Она помолчала. — Не говори ей, что я так сказала.

Ершов прошёл в заднюю избу.

Ганна сидела у окна, маленького, затянутого пузырьём, с

рубахой на коленях и с иглой. Увидев Ершова, она воткнула иглу в рубаху и положила рубаху на лавку.

— Не вторник, — сказала она.

— Кузьма ответил.

Он отдал ей письмо. Ганна развернула, прочла, быстро, про себя, и он смотрел на её лицо, пока она читала, — по привычке, которой стыдился и от которой не мог избавиться.

Кузьма отвечал второй раз. Первый раз он ответил в марте — коротко, что получил и что ждёт. Это значило: поверил. Теперь он писал больше. Ганна прочла и стала переводить вслух, медленно, ровно, как всегда, по-русски. Кузьма спрашивал про Ивана — встал ли с горячки. Спрашивал, правда ли московский уехал. Спрашивал, сколько будет весной стругов с хлебом на Низ и когда пойдут. Велел татарину, который возит, давать по копейке серебром за каждую ходку, а больше не давать, потому что татары, если дать больше, пьют.

— Ахметка не пьёт, — сказал Ершов.

— Кузьма не знает, — сказала Ганна. Она сложила письмо. — Он хорошо пишет. Спокойно. — Она помолчала. — Он верит.

— Это хорошо.

— Для вас, — сказала Ганна.

Ершов ничего не сказал. Он взял письмо обратно, сложил и убрал за пазуху. Пасынкову с этим письмом надо было отписать, и написать ответ Кузьме, и отдать Ганне переложить,

и Ганна переложит, и Ахметка повезёт. Так шло с марта. Это была работа, и он её делал, и Ганна её делала, и они оба знали, что это за работа, и говорили о ней, как говорят о перешитых рубахах.

— Из Москвы ничего? — спросила Ганна. Не глядя на него.

— Ничего.

— Он обещал отписать.

— Отписал, наверное. Из Москвы долго.

Ганна кивнула. Взяла рубаху, вынула иглу.

— Спасибо, пан подьячий, — сказала она и стала шить.

Когда Ершов вернулся в горницу, Сенька уже дописал и сидел, дуя на лист. Аграфена стояла у окна.

— Подводы, — сказала она. — Первые.

Ершов подошёл к окну. По улице, по грязи, по колено лошадям, шла первая ходка от пристани: две подводы с мешками, а за ними, в двадцати шагах, третья, а у третьей, сбоку, шёл Тихон и держал низ заднего мешка, чтоб не съехал. Подводы были чужие, ямские, и на передней сидел Ахметкин шурин и ругался на лошадь по-татарски так, что слышно было через пузырь.

— Двести пуд, — сказала Аграфена. Не Ершову, а себе. — Летось я двести пуд в один амбар не глядя ставила. А нынче на них два амбара и есть, и оба пустые. — Она помолчала. — Ну ничего. Двести пуд продать — тоже уметь надо.

— Продашь, — сказал Ершов.

— Продам. — Аграфена повернулась от окна. — Сенька. Ступай вниз, считать будешь, сколько мешков. Тихон считает, как решетом воду носит. А ты — как воду носишь вилами.

— Это как? — спросил Сенька.

— Ступай, увидишь.

Сенька ушёл. Аграфена посмотрела на Ершова.

— А ты, подьячий, не ступай, — сказала она. — Ты мешки считать не умеешь, да тебе и без надобности. — Она чуть усмехнулась. — Сиди. Сбитня нет, четверг. Квас есть.

Ершов сел. Аграфена налила ему квасу, себе тоже, и они сидели за столом у окна, и смотрели, как во дворе разгружают подводы, как Ахметкин шурин швыряет мешки на руки Тихону и Тихон крикает, как Сенька стоит с палочкой и ножом и режет зарубку на каждом мешке, и на третьем мешке сбивается, и начинает снова, и Тихон говорит ему что-то, и он машет рукой.

— Летом, — сказала Аграфена, — Сурин свою пошлёт. Караваном. Тысячами. Я у него за деньги возьму. Как все.

— Он ещё в Казани?

— До каравана. — Она отпила квасу. — Ходит. Не ко мне. На пристань ходит, на торг. Смотрит. Говорят, Сабуровым соль продал. Пятьсот пуд. В долг. — Она поставила кружку. — Им — в долг.

Ершов посмотрел на неё.

— Им можно, — сказала Аграфена. — У них двор большой. Братнины семьи. У них в книгах всё ровно. — Она по-

молчала. — Им можно.

Во дворе Сенька крикнул: «Сорок!» Тихон крикнул: «Сорок три!» Ахметкин шурин крикнул что-то по-татарски и засмеялся.

Аграфена встала.

— Ну вот, — сказала она. — Уже не сходится.

Она пошла вниз. Ершов пошёл за ней, не зная зачем, и стоял на крыльце, пока Аграфена во дворе пересчитывала мешки на подводах сама, рукой, не глядя на палочку, — мешок, мешок, мешок, — и Сенька стоял рядом с открытым ртом, и Тихон стоял рядом с закрытым.

— Сорок два, — сказала Аграфена. — На двух. И на третьей двадцать шесть. Шестьдесят восемь. Сенька, пиши шестьдесят восемь.

— Я писал сорок, — сказал Сенька.

— А теперь пиши шестьдесят восемь.

Калитка открылась, и во двор вошёл человек, которого Ершов знал в лицо, но не по имени: пристав из приказной избы, рыжий, в синем кафтане, с бумагой в руке. За ним — двое. Один — высокий, плотный, в добротном кафтане и в шапке с лисьей опушкой, хоть и весна, с бородой, в которой седина шла полосами, как в соли. Второй — помоложе, тощий, с книгой под мышкой. Приказчик.

Аграфена выпрямилась от подводы.

— Семён Иванович, — сказала она высокому. Голос у неё был ровный. — Ты бы хоть сказал, что придёшь. Я бы двор

подмела.

Сабуров снял шапку. Поклонился, коротко, как кланяются по делу.

— Аграфена Петровна.

— Ну.

— Пристав скажет, — сказал Сабуров.

Пристав развернул бумагу. Он читал громко, с запинками, как читают люди, которые читают редко, — на весь двор, так что Тихон перестал держать мешок, а Ахметкин шурин на подводе перестал смеяться.

По челобитью казанского торгового человека Семёна Иванова сына Сабурова на казанскую посадскую вдову Аграфену Кондратьеву о взыскании по закладной кабале нынешнего сто шестьдесят девятого году сентября в двадцать первый день, а срок тем заёмным деньгам был того же году на Велик день, и тот срок прошёл, а денег ему, Семёну, не заплачено, — велено ей, Аграфене, быть в приказной избе завтрашнего числа поутру к суду и ответу.

Пристав свернул бумагу. Во дворе было тихо. На улице проехала чужая телега, хлюпая колёсами.

— По закладной кабале, — повторила Аграфена.

— По закладной, — сказал Сабуров.

— Двадцать рублей, — сказала Аграфена. — Двадцать рублей я тебе должна. Это я знаю. Срок — Велик день, это я тоже знаю. — Она показала рукой на подводы. — Вот соль. Первая. Продам — отдам. Я тебе это в пятницу на Святой

говорила. Ты сказал: подожду.

— Сказал, — ответил Сабуров. — И ждал.

— Две недели.

— Две недели, — сказал Сабуров. — Мне поставщики на Каме тоже две недели ждут. А больше ждать не будут. — Он надел шапку. — Завтра в приказной всё прочтут.

— Завтра, — сказала Аграфена.

Сабуров повернулся к калитке. Он не посмотрел ни на подводы, ни на мешки, ни на Аграфену. Он посмотрел — Ершов это видел, потому что стоял на крыльце, выше всех, — на амбары. Сначала на левый. Потом на правый. Потом, уже у калитки, обернулся и посмотрел на сам двор: на избу, на крыльцо, на баню в углу, на огород за баней, на забор. Так смотрят, когда считают. Без жадности. Просто считают.

Приказчик с книгой под мышкой пошёл за ним. Пристав задержался, свернул бумагу трубкой, сунул за пояс и сказал Аграфене, уже не громко, а по-человечески, что ему велено и что он тут ни при чём.

— Знаю, что ни при чём, — сказала Аграфена. — Иди.

Пристав ушёл.

Аграфена постояла посреди двора. Потом посмотрела на Ершова на крыльце.

— Ты слышал, — сказала она.

— Слышал.

— Двадцать рублей, — сказала она. — Не больше. — Она помолчала. — Ты мне только не говори ничего. Я знаю, что

ты скажешь. Ты скажешь: покажи, что подписала. А мне показать нечего. Кабала у него.

Ершов ничего не сказал. Он и правда хотел сказать именно это.

Аграфена повернулась к подводам.

— Тихон. Что стоишь? Разгружай. Соль сама в амбар не пойдёт. — Она обернулась к Сеньке. — А ты что?

— Я пишу, — сказал Сенька. — Шестьдесят восемь.

— Ну и пиши.

— А письмо Дорофею как? Дописывать?

Аграфена подумала.

— Дописывай, — сказала она. — Пиши: «А Семён Сабуров кланяется».

Сенька обмакнул перо, которое так и держал в руке с самой горницы, в чернильницу, которую так и держал в другой, и написал прямо на колене, без наклона, крупно: «А Семён Сабуров кланяется», — и поставил кляксу на «кланяется», и долго на неё смотрел.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Крепость на вдову

К приказной избе народ начал собираться раньше, чем пришёл дьяк.

Ершов, подходя, насчитал у крыльца человек тридцать и бросил считать, потому что подходили ещё. Стояли посадские с Бакалды, бабы с торгова, два мясника в окровавленных передниках, которые, видно, бросили работу у колод, судовые люди с лаишевского струга, которые ничего про Аграфену не знали, но пришли, потому что все шли. Марфа Кузьминишна стояла у самых ступенек, в праздничном платке, хотя был будний день, и рассказывала всем, кто стоял рядом, что она ещё в Филиппов пост говорила.

Площадные подьячие сидели у крыльца, как всегда, на своей лавке под навесом, с чернильницами на коленях, и писали кому-то челобитные, кому-то кабалы, кому-то поручные записи, и поглядывали на толпу, как рыбаки смотрят на воду, когда рыба пошла. Среди них, в середине лавки, сидел старик в потёртом кафтане, сухой, с белой бородой клином, и чинил перо. Рядом с ним стоял молодой, тонкий, белобрысый, услужливо держал старику чернильницу.

Ершов прошёл мимо них в избу.

В избе было тесно и душно. Дьяк сидел за столом под образами. Сбоку, на лавке у стены, сидел воевода — не за столом, а сбоку, будто зашёл посмотреть, хотя без его слова

здесь ничего не решали, — в лёгкой ферязи, потный, с платком, и, видно было, жалел, что зашёл. У другого стола сидел старый подьячий Пантелей Гусев, у которого был голос, как у дьякона, и которого поэтому всегда сажали читать. Губной стоял у двери: его позвали дать людей, если велят опечатывать товар.

Ершову дьяк показал на малый стол у окна.

— Пиши.

Ершов сел и разложил лист. Он писал теперь всё, что велели: губному — колодников, дьяку — выписи, приказной избе — судные списки. В Москву его не звали. Он знал, что не позовут. Он к этому привык быстрее, чем думал.

Ввели Сабурова. Потом ввели Аграфену.

Она вошла в будничной душегрее, в тёмном платке, повязанном туго, по-вдовьи, и поклонилась образам, потом воеводе, потом дьяку, коротко, по-купчески, и стала у стены, где ей показали. На Сабурова не посмотрела. На Ершова тоже. Руки сложила на животе, одну на другую, и Ершов, глядя на них, подумал, что так она держит руки, когда считает в уме и не хочет, чтобы видели, что считает.

Пантелей Гусев встал и прочёл сперва челобитную.

Челобитная была как челобитная. «Царю государю и великому князю бьёт челом сирота твой, казанский торговый человек Сёмка Иванов сын Сабуров». Ершов писал за ним, не вслушиваясь, — он эти слова писал тысячу раз, рука их помнила сама. «...на казанскую посадскую вдову на Огро-

фенку Кондратьеву... в нынешнем, государь, во сто шестьдесят девятом году сентября в двадцать первый день заняла она, Огрофенка, у меня, сироты твоего, по закладной кабале восемьдесят рублёв денег...»

Перо остановилось.

Ершов посмотрел на лист. На нём стояло, его рукой, крупно, после ожога: «восемьдесят». Он посмотрел на Аграфену.

Аграфена стояла у стены, как стояла. Руки на животе. Лицо — никакое. Будто она не расслышала. Или расслышала и решила, что ослышалась.

Пантелей читал дальше. Ершов дописал «рублёв денег».

«...а срок тем деньгам на Велик день, и тот срок, государь, прошёл, а она, Огрофенка, тех денег мне, сироте твоему, не платит. Милосердый государь, вели, государь, мне на ней по той кабале твой государев указ учинить».

Пантелей сел. Дьяк кивнул Сабурову. Сабуров достал из-за пазухи свёрток — плат, а в плате столбец, свёрнутый, тугой, — и подал дьяку. Дьяк развернул, посмотрел, кивнул и подал Пантелею.

— Чти.

Пантелей стал читать кабалу.

Столбец был длинный, из трёх листов, склеенных один под другим, и Пантелей держал его, как держат полотенце, двумя руками, отпуская сверху и подбирая снизу.

«Се аз, Огрофена, казанская посадская вдова Кондратьева, заняла есми у казанского торгового человека у Семёна

Иванова сына Сабурова в общий соляной торг, на покупку соли пермской...»

Это было правдой. Ершов видел, что Аграфена это узнала: она кивнула. Еле заметно, но кивнула, будто подтверждала счёт.

Пантелей отпустил столбец ниже. Второй лист.

«...восемьдесят рублёв денег серебряных московских ходячих прямых без приписи до сроку до Велика дня. А в тех есми деньгах подписала и заложила ему, Семёну, два амбара свои соляные на Бакалде, что у меня...»

На словах «два амбара» Аграфена подняла голову.

Она не пошевелилась больше ничем. Только подняла голову и стала смотреть на столбец в руках у Пантелея, как смотрят на подводу, где мешков больше, чем грузили.

«...да двор свой на Бакалде же, со всем дворовым строением, с избою и с горницею, и с клетью, и с баней, и с огородом, а длиннику того двора...»

Пантелей читал длинник и поперечник, сколько сажень по улице и сколько в огород, и кто сосед справа, а кто слева, и Аграфена стояла и слушала, как слушают, когда тебе рассказывают твой собственный двор, которого ты не видел никогда.

«...да что в тех амбарах товару будет на тот день, как срок минет. А будет я, Огрофена, на тот срок тех денег не заплачу, и на те амбары и на двор сия закладная кабала, а по сроке купчая и отводная память».

Пантелей отпустил столбец ещё ниже. Третий лист.

«...А кабалу писал площадной подьячий Минка Колесников. А на то послуши...»

Он прочёл послухов. Шесть человек. Гаврила Пестов, шорник. Онуфрий Савельев, перевозчик. Лука Шапошников, Семёнов приказчик. Агафон Ковалёв, салотопник. Степан Мохов, квасник. И последним — Тихон, Огрофенин работник, а за него, за неграмотством, руку приложил Агафон Ковалёв.

Пантелей перевернул столбец и прочёл оборот. По обоим сствам, на обороте, шла рука площадного: «Минка Колесников». И внизу, на последнем листе, рукою, медленной, круглой, с большим «А» и с хвостом у «у»: «К сей кабале Огрофена Кондратьева руку приложила». А ниже — послухи, кто сам, кто за кого.

Пантелей свернул столбец и положил на стол.

Дьяк посмотрел на Аграфену.

— Огрофена, — сказал он. — Слыхала?

— Слыхала.

— Рука твоя?

Пантелей поднёс ей столбец, развернул оборот, показал. Аграфена посмотрела. Долго. Читала она медленно, Ершов это знал. Она прочла свою руку — одну короткую строку — дольше, чем Пантелей читал всю кабалу.

— Руку признаю, — сказала она.

В избе стало тихо. Даже за окном, на крыльце, стало тихо,

потому что те, кто стоял у окна, передали назад, и там тоже замолчали.

— Крепость лживлю, — сказала Аграфена.

Дьяк поднял брови.

— Всю?

— Середину.

Ершов писал. Он записал «руку признаю». Записал «крепость лживлю». Он хотел написать «середину» и остановился на мгновение, потому что слово было не судное, такое в судный список не пишут, так говорят про хлеб или про лес. Он написал: «а в середине-де той кабалы писано не то».

Сабуров кашлянул.

— Государь воевода, — сказал он, повернувшись к лавке.

— Дьяк. Рука её. Писано на площади. Послухи по кабале — вот они, на крыльце стоят, все шестеро. Площадной — на лавке сидит. — Он помолчал. — Явки она не подавала. Челобитья не подавала. С сентября молчала. До Велика дня молчала. В пятницу на Святой мне сама говорила: должна, отдам. — Он не повышал голоса. — По Уложению — как с ней быть, вы знаете лучше меня. Я прошу взыскать.

Воевода вытер лоб платком и посмотрел на дьяка. Дьяк посмотрел на Аграфену.

— Огрофена. Явку подавала?

— Не подавала.

— Почему?

— А на что? — Аграфена смотрела на дьяка прямо. —

Кабалу Семён Иванович с сентября у себя держал. Я её как подписала, так больше в глаза не видала. Я и сейчас её в первый раз за полгода вижу. На что мне было явку подавать, когда я не знала, что там другое написано? — Она помолчала. — Я двадцать рублей у него брала. Двадцать. Под один амбар. До расчёта. Это я ему и в пятницу на Святой говорила, и вчера при людях. А восьмидесяти не брала и двора не закладывала.

— Это ты так говоришь, — сказал Сабуров.

— Это я так говорю, — согласилась Аграфена. — А ты говоришь — восемьдесят.

Дьяк помолчал.

— Огрофена, — сказал он. — Рука твоя. Крепость на площади писана. Послухи есть. Явки до суда не бывало. По Уложению тебе в том веры нет.

— Мне не верь, — сказала Аграфена. — Бумагу досмотри.

— А полживишь не делом — долг на тебе вдвое.

— Слыхала.

— И всё одно лживишь?

— Всё одно.

Ершов записал. «Всё одно» в судный список тоже не годилось. Он написал: «и в том стоит».

— Мне челобитье подать, — сказала Аграфена дьяку. — Встречное. Сейчас. Пока не поздно.

Дьяк подумал.

— Подавай. Площадные на крыльце.

Аграфена поклонилась и вышла.

Ершов видел в окно, как она вышла на крыльцо и как толпа подалась от неё, и как она прошла мимо лавки площадных, мимо старика с белой бородой, который поднял на неё глаза и тут же опустил, мимо белобрысого, который всё держал старику чернильницу, мимо остальных, — и остановилась у края крыльца, и позвала через головы:

— Сенька!

Сенька вынырнул из толпы. Он, видно, стоял всё время у самых ступенек, рядом с Марфой. В руках у него была чернильница, а под мышкой — лист, Аграфенин, хороший, белый.

— Садись, — сказала Аграфена. — Пиши.

Сенька сел на ступеньку, положил лист на колено и обмакнул перо.

— С наклоном? — спросил он.

— Прямо, — сказала Аграфена. — Пиши: «Царю государю...»

Она диктовала, и Ершов, сидя у окна, слышал её голос через раскрытую створку. Ровный, деловой, будто она диктовала Дорофею, сколько соли.

«...рука у той кабалы моя, а писано в ней ныне не то, на что я руку приложила, и денежной суммы восьмидесяти рублёв у Семёна Сабурова не имывала, и двух амбаров, и двора, и товару ему не закладывала, а брала у него двадцать рублёв

под один амбар, крайний к улице, до расчёта по соли. Милосердый государь, вели, государь, ту кабалу досмотреть, не переправлена ли она после моего рукоприложения, и про то сыскать...»

— Сыскать через «ы»? — спросил Сенька.

— Через что хочешь, — сказала Аграфена. — Только пиши.

Сенька дописал. Аграфена взяла у него перо и на обороте, медленно, круглой рукой, с большим «А» и с хвостом у «у», написала: «К сей челобитной Огрофена Кондратьева руку приложила». И вернулась в избу.

Дьяк прочёл челобитье. Показал воеводе. Воевода прочёл, вернее, посмотрел, — Ершов видел, что он смотрит не на слова, а на Сенькины кляксы, — и отдал.

— Ну, — сказал воевода. Голос у него был тонкий, неожиданный для такого большого человека. — Сыскать — так сыскать. — Он посмотрел на дьяка. — Кабалу — под печать. Список снять. Послухов и площадного расспросить порознь. — Он помолчал. — До сыску Сабурову владенья не отдавать, Кондратьевой из закладного амбара товару не вывозить. Амбар опечатать. Товар описать.

— Который амбар? — спросил дьяк.

Воевода подумал. Видно было, что он не знает, какие у Кондратьевой амбары, и не хочет знать.

— Какой она в челобитье пишет, — сказал он. — Крайний. Один амбар опечатать. Другой оставить до сыску.

— Почему один? — спросил губной. Он стоял у дверей и до сих пор молчал.

— Потому что один амбар она и сама признаёт, — сказал Сабуров.

Аграфена посмотрела на него. Первый раз за всё утро.

— Ничего я тебе ещё не признала, — сказала она.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Под печатью

Печатать пришли в субботу, с утра, пока не жарко.

Пришёл пристав, тот же, рыжий. Пришли двое губных людей, Митрофан и Митрофанов племянник, без багра, но с замком и с верёвкой. Пришёл от Сабурова приказчик Лука Шапошников, тощий, с книгой под мышкой, и встал у амбара так, будто амбар уже его, а он только ждёт, когда отдадут ключ. И пришёл Ершов, потому что дьяк сказал: опись писать будешь ты, у тебя рука крупная, губной потом прочтёт.

Аграфена ждала у крайнего амбара. С ней были Тихон и Сенька. Сенька держал под мышкой лист, а в руке — счётную палочку и нож.

— Это зачем? — спросил пристав, глядя на палочку.

— Считать, — сказала Аграфена. — Он за меня считать будет. А подьячий — за суд писать. А Лука — за Семёна Ивановича глядеть. — Она посмотрела на Луку. — Глядеть-то умеешь?

— Умею, — сказал Лука.

— Ну, гляди.

Тихон отпер амбар.

Внутри было полутемно, прохладно и пахло так, как пахнет в соляном амбаре весной: сырым деревом, мешковиной и тем, что соль сама по себе не пахнет, а всё вокруг неё пахнет солью. Свет шёл из ворот и из двух продухов под крышей.

Мешки лежали у двух стен. У левой — вчерашние, малые, горой, неровно, кое-как, видно, клали в спешке. У правой — старые, большие, рогожные, ровно, рядами, плотно, мешок к мешку, и на каждом чёрной краской была выведена большая буква «С», а под ней черта.

— Ну, — сказал пристав. — Пиши, подьячий. Амбар соляной, крайний к улице, Огрофенин.

Ершов сел на перевёрнутую кадку у ворот, положил лист на доску, доску на колени. Написал.

— Мешки, — сказал пристав. — Сколько?

— Сейчас, — сказал Сенька и пошёл к левой стене.

Аграфена взяла его за рукав.

— Не так, — сказала она. — Сперва правые.

— Почему правые?

— Потому что правые — осенние. А левые — вчерашние.

— Она повернулась к приставу. — Пиши, подьячий. Осенние, Сабуровские, клеймёные — отдельно. Вчерашние, мои, с лаишевского струга, — отдельно.

— Почему отдельно? — спросил Лука.

— Потому что в кабале что писано? — сказала Аграфена.

— Что ты вчера в избе слышал? «Что в тех амбарах товару будет на тот день, как срок минет». Срок минул на Велик день. А вчерашние мешки привезли вчера. На Велик день их тут не было. Они у лаишевских на струге были. — Она помолчала. — Хоть кабалу и я лживлю, а по ней же тебе вчерашних не видать.

Лука открыл рот и закрыл.

— Пиши, — сказал он Ершову, подумав. — Пиши: все. А там суд разберёт.

— Пиши отдельно, — сказала Аграфена.

Ершов посмотрел на пристава. Пристав посмотрел на губных людей. Митрофан пожал плечами. Митрофанов племянник смотрел под крышу, где в продухе сидел воробей.

— Пиши отдельно, — сказал пристав. — А там суд разберёт.

Ершов написал: «А в том амбаре соли в мешках у правой стены, клеймёных...» — и оставил место для числа. И ниже: «...да у левой стены мешков, привезённых после срока, по словам Огрофены, чему приказчик Лука прекословил...» — и тоже оставил место.

Сенька начал считать правые.

Он считал, как учила Аграфена, рукой: клал ладонь на мешок, резал зарубку. На пятом — поперёк. Ряды были ровные, и мешков в ряду было семь, и рядов было пять, и Сенька, вместо того чтобы помножить, клал руку на каждый, потому что так велели, и Лука ходил за ним следом и тоже клал руку на каждый, потому что так ему велел Семён Иванович, и они ходили вдвоём вдоль правой стены, кладя руки на мешки по очереди, как два попа, кропящие стадо.

— Тридцать пять, — сказал Сенька.

— Тридцать пять, — сказал Лука.

— И два сверху, — сказал Тихон.

Все подняли головы. На верхнем ряду, у самой стены, в тени, лежали ещё два мешка, клеймёных, поперёк.

— Тридцать семь, — сказала Аграфена.

— Тридцать семь, — сказал Лука. Он помолчал и прибавил, глядя на клейма: — А осенью сорок клали.

Аграфена посмотрела на него.

— Сорок, — согласилась она. — Три я по Покрову продала. По уговору, в общий счёт. Он знает.

— Я не знаю, — сказал Лука.

— А ты спроси. — Аграфена отвернулась. — Пиши, подъячий: тридцать семь. А сорок клали осенью — это Лука сказал. Ты и это пиши.

— Зачем? — спросил пристав.

— Затем, что сказал.

Ершов написал число и написал ниже, мелко, как пишут то, что сказано между делом: «А приказчик Лука сказал: осенью-де клали сорок». Он не знал, зачем Аграфене это нужно. Он записал, потому что было сказано.

Потом считали левые. Левые были хуже. Мешки вчера валяли как попало, с подвод, торопясь, и они лежали горой, друг на друге, боком, торчком, и Сенька полез на гору, и гора под ним поехала, и он съехал вниз вместе с тремя мешками, и один мешок лопнул по шву, и из него посыпалась соль, серая, крупная, на земляной пол, и Сенька сидел в соли и смотрел на Аграфену.

— Это я не нарочно, — сказал он.

— Знаю, что не нарочно, — сказала Аграфена. — Нарочно так не сумеешь. — Она повернулась к Ершову. — Пиши: мешок един лопнул, соль просыпана. До печати.

— До печати, — сказал пристав. — Пиши.

Ершов написал. Он вспомнил, как в другой раз писал «до взятъя», про масло на девятом листе, и подумал, что у Аграфены, видно, всё в жизни делится на то, что было до, и на то, что после, и что до она всегда отмечает сама.

Сенька встал, отряхнулся и полез на гору снова, уже осторожно, на четвереньках. Лука за ним не полез. Лука стоял внизу и считал глазами.

— Шестьдесят восемь, — сказал наконец Сенька сверху.

— Шестьдесят восемь, — сказала Аграфена. — С лопнувшим.

— А я насчитал шестьдесят пять, — сказал Лука.

— Так ты внизу стоял, — сказала Аграфена. — Снизу верхних не видно. Лезь, посчитай.

Лука посмотрел на гору, на свой кафтан, на Сеньку в соли.

— Шестьдесят восемь, — сказал он.

Ершов написал. Потом он написал, что в амбаре ещё есть: весы чашечные одни, безмен один, гири железные три, совок деревянный, лопата, рогожи старые числом девять, кадка пустая, на которой он сидел, — Лука велел и её записать, чтоб потом не сказали, что подьячий сидел на Огрофениной кадке, а она пропала, — и метла.

— Метлу не пиши, — сказала Аграфена. — Метла Тихо-

нова.

— Метла в амбаре, — сказал Лука.

— Метла в амбаре, потому что Тихон в амбаре мёл. А как опечатаете — он мести не будет. Метлу я заберу.

— Без указу нельзя, — сказал пристав. — Что в амбаре — то под печатью.

Аграфена посмотрела на пристава. Пристав посмотрел на метлу.

— Пиши метлу, — сказал он Ершову.

Ершов написал метлу.

Вышли. Тихон затворил ворота. Митрофан навесил приказной замок, тяжёлый, с ключом, как у церкви. Митрофанов племянник продел через пробой верёвку, завязал узлом. Пристав вынул из сумы комок воска, размял в пальцах, налепил на узел и прижал приказной печатью, которую дьяк выдал ему утром под расписку. Подождал, пока воск схватится, и осторожно убрал руку. Оттиск вышел чистый.

Лука стоял у ворот, с книгой под мышкой, и смотрел на второй амбар, неопечатанный. Смотрел так, как Сабуров вчера смотрел на двор, и Ершов видел, что он считает: сколько вдова успеет в него сложить и сколько из того продаст до суда.

— А этот? — спросил он.

— Этот до сыску, — сказал пристав. — Воевода сказал.

— А соль в нём?

— Соли в нём нет, — сказала Аграфена. — Пустой. Вчера

в крайний клали, потому что к нему подвода подходит, я до вечера продать хотела. А вторую ходку — в дальний, да не успели. Ты к вечеру пришёл со своим Семёном Ивановичем, у Тихона руки опустились. — Она помолчала. — Семён Иванович обещал ждать. Потому и клала сюда. Теперь научил. — Она помолчала ещё. — Теперь вторую ходку в пустой положу. Сегодня. Тихон, подводы где?

— На пристани, — сказал Тихон. — Ахметкин шурин ждёт.

— Ну и иди.

Тихон ушёл. Лука посмотрел на Аграфену, на опечатанный амбар, на пустой и пошёл было к калитке.

Пристав сложил опись, которую Ершов ему отдал, вчетверо и сунул было за пазуху.

— Подписать надо, — сказал он Аграфене.

Пристав вынул опись и подал Ершову. Ершов передал её Аграфене вместе с пером. Аграфена прочла её всю, медленно, водя пальцем, — опять дольше, чем Ершов писал, — дошла до «А приказчик Лука сказал: осенью-де клали сорок», остановилась, подержала палец на этой строке и пошла дальше. Дошла до метлы. Хмыкнула. И на обороте, медленно, круглой рукой, с большим «А» и с хвостом у «у», написала, что к описи руку приложила.

Лука вернулся от калитки, прочёл опись вслед за ней, быстрее, но строку про сорок мешков прочёл дважды, поморщился и тоже приложил руку. Пристав подписал, что

описывали при нём и при губных людях.

Пристав взял опись и ушёл. Губные люди ушли за ним.

Во дворе остались Аграфена, Ершов и Сенька, весь в соли.

— Ты, Сенька, иди домой, — сказала Аграфена. —

Отряхнись по дороге. Соль денег стоит.

Сенька ушёл, отряхиваясь.

Аграфена посмотрела на Ершова.

— Ты вчера что писал? — спросила она. — Когда я сказала «всё одно».

— «И в том стоит».

— И в том стоит, — повторила Аграфена. — Хорошо написал.

Она хотела сказать что-то ещё, и Ершов видел, что хотела, но в эту минуту из-за опечатанных ворот, изнутри, из амбара, раздалось мяуканье. Долгое, обиженное, громкое.

Аграфена посмотрела на ворота.

— Мурка, — сказала она.

Из амбара мяукнули ещё раз.

— Она там мышей ловит, — сказала Аграфена. — Каждое утро. Тихон её туда пускает. — Она посмотрела на печать на верёвке, на замок. — Кошку запечатали.

Ершов посмотрел на печать.

— Без указу не распечатают, — сказал он.

— Знаю, что не распечатают. — Аграфена подумала. — Мыши там есть. С голоду не помрёт. — Она помолчала. — А метлу в опись записали, а кошку нет. Кошка-то теперь чья

— моя или Семёна Ивановича?

Из амбара мяукнули в третий раз, совсем уже обиженно.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Шесть послухов

Пристава догнал Митрофанов племянник у самого моста через Булак. Пристав выслушал, посмотрел на небо, будто там было написано, что ему за это будет, и пошёл назад, не торопясь, всем видом показывая, что идёт не ради кошки, а ради порядка.

Во дворе он долго стоял у амбара и слушал, как за воротами мяукают.

— Это кошка, — сказал он наконец.

— Кошка, — согласилась Аграфена.

— В описи кошки нет.

— Нет.

— А раз её в описи нет, — сказал пристав, подумав, — значит, она не под печатью. Значит, её выпустить можно. — Он посмотрел на Ершова. — А печать снять нельзя.

— Без печати её не выпустишь, — сказал Ершов.

Пристав подумал ещё.

— Пиши, — сказал он.

Ершов достал опись, которую пристав отдал ему обратно, и стал писать внизу, под всеми руками, отступив строку. Пристав при Митрофане, при Луке, которого тоже вернули с полдороги, и при Аграфене снял печать, отвязал верёвку, отпер замок и отворил ворота на ширину ладони. Из щели, не торопясь, оскорблённо, вышла серая кошка, посмотрела

на всех по очереди и ушла под крыльцо, не обернувшись.

Пристав затворил ворота, запер, продел верёвку, налепил новый воск и приложил печать. Оттиск опять вышел чистый.

Ершов дописал: «И того ж дни, после описи, из того амбара выпущена кошка, что в описи не писана, а печать снимана при приставе, и при губном человеке Митрофане, и при приказчике Луке, и при Огрофене, и приложена вновь».

Пристав подписал. Лука подписал. Аграфена подписала, круглой рукой. Митрофан грамоте не знал и только посмотрел, где про него написано.

Ершов смотрел на приписку. Она стояла под всеми прежними руками, отдельно, и было видно всякому, кто возьмёт лист: вот опись, вот кто её подписал, а вот — после — что случилось, и кто при том был, и кто опять подписал. Ничего не спрятано. Если бы кто через год стал читать, он бы сразу понял, где кончилось одно и началось другое.

Он подумал, что так и должна выглядеть бумага, в которой что-то поменяли. И что кабала Сабурова так не выглядит.

Он сложил опись и отдал приставу.

Послухов расспрашивали в понедельник, порознь, в приказной избе, по одному. Дьяк спрашивал, Ершов писал. Аграфены и Сабурова при том не было: дьяк сказал, что при них каждый вспомнит, что надо им, а не что было.

Каждого ставили перед образами, и каждому дьяк говорил одно и то же:

— Сказывай в Божью правду, по государеву крестному це-

лованию, как тебе стать на Страшном суде Христове.

Потом спрашивал.

Первым позвали Гаврилу Пестова, шорника.

Гаврила был широкий, лысый, с руками в дёгте, который не отмывался никогда, и Ершов помнил его по зиме: это он на торгу говорил Ибрагиму, что «ваши боярина взяли», а Ибрагим ему про хомут. Гаврила поклонился, сел на краешек лавки и стал мять шапку.

— Был при кабале? — спросил дьяк.

— Был.

— Как был?

— Да как. — Гаврила подумал. — Я у Минки на лавке сидел, мне память на хомуты писали, для Сабуровых же, я им хомуты делал. Ждал. А тут Семён Иваныч пришёл с вдовой. Минка говорит: Гаврила, побудь послухом, всё одно сидишь. Я побыл.

— Что слышал?

— Минка читал.

— Что читал?

— Кабалу.

— А в кабале что?

Гаврила помял шапку.

— Про соль, — сказал он. — Про серебро. Что Огрофена у Семёна Иваныча берёт. Под амбар. — Он подумал. — Сумму Минка читал, а я не слушал. Я на неё смотрел.

— На кого?

— На вдову. — Гаврила посмотрел на дьяка, потом на Ершова. — Она в тот час счёт проверяла. Ей Семёнов приказчик лист подал, со счётом, сколько соли, почём. Она его по пальцам считала, губами. Минка читает, а она считает. Я ещё подумал: вот баба, ей кабалу читают, а она про своё. — Он помолчал. — Потом Минка дочёл, она руку приложила. Я руку приложил. Всё.

— Сколько денег, не помнишь?

— Не помню, — сказал Гаврила честно. — Я хомутами думал.

Ершов записал. Он записал «а сколько денег, того не упомянет», и ещё записал, мелко: «а вдова в те поры счёт по пальцам считала», — потому что это было сказано, и потому что он уже знал, что это пригодится не Аграфене.

Вторым был Онуфрий Савельев, перевозчик. Ершов знал и его: в старой летней пачке, той, что лежала у него в сундуке, был лист про Онуфрия, как тот обсчитал на перевозе бабу с курами. Онуфрий был маленький, юркий, с хитрыми глазами, и говорил быстро, будто всё время торговался.

— Был, — сказал он. — Как же. Я в тот день Семёну Иванычу соль с лодки перевозил, он меня и позвал. Послух — это ж почитай денга, а денга не лишняя.

— Что слышал?

— Всё слышал. — Онуфрий загибал пальцы. — Соль. Серебро. Амбар. Срок — Велик день. Это я помню: на Велик день я лодки смолил. Лёд уже худой был, а чистой воды ещё

не было. Мне его не забыть.

— Амбар — один или два?

Онуфрий открыл рот. Подумал.

— Амбар, — сказал он. — Амбары. — Он подумал ещё.

— Это ж как сказать. Амбар поминали. А сколько — я тебе, дьяк, так скажу: кто в кабаках амбары считает? Поминали — и ладно.

— А двор поминали?

— Двор, — сказал Онуфрий. — Двор — вроде поминали.

— Он почесал за ухом. — А может, и не поминали. Двор всегда поминают. В каждой кабаке двор. Я в трёх кабаках послухом был за год — и в каждой двор.

— В этой?

— Не скажу, — сказал Онуфрий. — Врать не буду. Не скажу.

Третьим был Лука. Лука говорил ровно, не запинаясь, глядя в стол: восемьдесят рублей, два амбара, двор с товаром, Велик день. Всё как в кабаке. Слово в слово.

— Ты кабаку читал? — спросил дьяк.

— Слушал, как Минка читал. Потом сам читал. — Лука поднял глаза. — Она у Семёна Иваныча в ларе лежала. Я ему счёт веду. Я её не раз читал.

— После того, как писали?

— После.

Ершов записал: «и та кабака у него, Луки, в руках бывала после того не однова». Лука видел, что он пишет, и ничего

не сказал.

Четвёртым был Агафон Ковалёв, салотопник, рыхлый, в сальном кафтане, от которого в избе сразу запахло, как в его салотопне. Агафон помнил одно: что расписывался дважды — за себя и за Тихона, потому что Тихон неграмотный, — и что во второй раз у него перо брызнуло и Минка сказал ему нехорошее слово.

— А что в кабале было?

— Не скажу, — сказал Агафон. — Я на перо глядел.

Пятым был Степан Мохов, квасник. Степан был весёлый, красный, с рыжей бородой, и в тот сентябрьский день, как оказалось, был у площадных не по делу: носил по рядам квас, кувшин на плече, и Минка позвал его послухом, потому что больше никого рядом не было.

— Квас был хороший, — сказал Степан. — Ягодный. Семён Иваныч кувшин весь взял, на всех. Я и остался.

— Что слышал?

— Минка читал. Долго. Столбец-то длинный. — Степан развёл руками. — Минке читать неловко было, у него руки старые, трясутся. Так ему малый держал.

— Какой малый?

— Его, Минкин. Белобрысый. Который при нём. — Степан подумал. — Он столбец держал за нижний конец и подбирал снизу, как Минка дочитает. Минка читает, малый держит. Ловко держал.

Ершов поднял голову от листа. Записал: «а столбец-де

держал Минкин подручный». И ещё раз посмотрел на эту строку.

— А что читали — помнишь?

— Про соль, — сказал Степан. — И сколько-то рублёв. — Он подумал. — Много. Я ещё подумал: много. А сколько — кто ж его знает. Для меня, дьяк, и двадцать много. Я за день на квасе четыре алтына беру.

Шестым был Тихон.

Тихон вошёл, перекрестился на образа и стал у двери, огромный, неловкий, глядя в пол. Сесть его не уговорили.

— Ты был при кабале?

— Был.

— Что слышал?

Тихон долго молчал.

— Хозяйка сказывала Семёну Иванычу, — сказал он наконец, — ещё до площади. На дворе. Двадцать рублёв, говорит, под крайний амбар. До расчёта. Семён Иваныч говорит: ладно. — Он помолчал. — А что Минка читал — я не понял. Я грамоте не учён. Он читал быстро. По-приказному.

— Ты Огрофенин работник?

— Её.

Дьяк посмотрел на Ершова. Ершов знал этот взгляд. Это значило: работник за хозяйку что хочешь скажет, пиши, да цены этому не будет.

— Ещё что?

Тихон подумал.

— Серебро Семён Иванович на стол клал, — сказал он. — В мешочке. Мешочек малый был. С кулак. — Он показал кулак, большой, как ковш. — Я ещё подумал: невелики деньги для такого крику.

— Мешочек один был?

— Один, — сказал Тихон. — Я видел один.

— Мешочек при тебе развязывали?

— Нет.

— Деньги считали?

— Не при мне.

Дьяк отпустил его.

Когда все шестеро ушли, дьяк откинулся к стене и долго смотрел в потолок.

— Ну? — сказал он. — Что у тебя, подьячий?

Ершов посмотрел на лист.

— Никто не врёт, — сказал он.

— Никто, — согласился дьяк. — Шестеро. Все были. Все видели вдову, Семёна и бумагу. Пятеро помнят каждый своё: кто хомуты, кто перо, кто квас. Онуфрий в трёх кабалах послухом был и в каждой двор. А Тихон — её работник. — Он посмотрел на Ершова. — Один Лука помнит кабалу. Слово в слово. Потому что потом читал.

Ершов молчал.

— Послухи для того и пишутся, — сказал дьяк, — что были. Не для того, что помнят. — Он потёр глаза. — Ступай. Перебели.

Ершов собрал листы и пошёл к двери. В сенях на лавке сидел Степан Мохов, квасник, — не ушёл, ждал.

— Подьячий, — сказал он. — Ты дьяку скажи. Мне за то, что послухом был, денгу дадут?

— Не знаю.

— За ту, осеннюю, мне Минка денгу дал, — сказал Степан. — А за квас Семён Иваныч так и не заплатил. Кувшин взял, а не заплатил. Говорил: потом. — Он вздохнул. — Это ж полгода. Ты б записал где-нибудь.

Ершов посмотрел на него, на кувшин у его ног, тот же, наверное, что и в сентябре.

— Где? — спросил он.

— Да где хочешь, — сказал Степан. — Ты ж всё пишешь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Площадной

За Минкой Колесниковым дьяк послал Ершова.

— Сам сходи, — сказал дьяк. — Пристава пошлѣшь — он ему при всѣм торгу позыв прочтѣт, а Минка старый, обидится, с обиды и вовсе всё забудет. А тебя он знает. Ты у него в прошлом году перья покупал.

Ершов не помнил, чтобы покупал у Минки перья. Но пошѣл.

Лавка площадных стояла у приказной избы, под навесом, длинная, на козлах, и на ней с утра до вечера сидели пятеро, а то и шестеро, и писали всё, что в Казани надо было написать человеку, который сам писать не умел. Челобитные, кабалы, купчие, поручные, заѣмные, рядные, духовные, полюбовные, мировые. Письма. Перед ними стояла очередь, всегда, кроме праздников, и в очереди говорили громко, потому что каждый хотел, чтобы его дело было слышно, и тихо, потому что каждый не хотел, чтобы его дело было слышно, и от этого над лавкой стоял гул, как над ульем.

Когда Ершов подошѣл, у крайнего подьячего баба диктовала челобитную на соседа, у которого коза объела ей капусту, и подьячий спрашивал, сколько кочанов, и баба говорила «все», и подьячий говорил, что «все» в челобитную не пишут, надо число, и баба говорила «тогда двадцать», и подьячий писал «двадцать», и Ершов подумал, что вот так и

делаются бумаги.

Минка сидел в середине. Перед ним мужик в лаптях, мят шапку и говорил что-то про брата и про мельницу. Минка слушал, кивал и не писал. Писал за него белобрысый, стоя, на доске, которую держал на согнутой руке, как держат поднос, — быстро, ровно, не поднимая головы.

Ершов подождал, пока мужик кончит. Мужик кончил. Белобрысый дописал, подал Минке. Минка взял, поднёс к самым глазам, прочёл, шевеля губами, кивнул и поставил внизу руку — медленно, старательно, и Ершов видел, как у него ходит перо, вздрагивая на каждой букве.

— Минка Колесников, — сказал Ершов.

Минка поднял голову. Глаза у него были светлые, слезящиеся, в красных веках.

— Я, — сказал он.

— Дьяк зовёт. По Огрофениной кабале.

Минка посмотрел на него долго, будто вспоминал, кто он такой, и, видно, вспомнил.

— Подьячий, — сказал он. — Из приказной. Казённый.

— Он отложил перо. — Ты у меня в прошлом лете перья брал. Гусиные. Три десятка. Я тебе уступил.

— Уступил, — сказал Ершов, хотя не помнил.

— Ну. — Минка поднялся, медленно, опираясь на лавку.

— Филат. Ларец возьми.

Белобрысый уже держал ларец. Он взял его раньше, чем Минка сказал, — Ершов это заметил, — и стоял, ожидая, с

ларцом под мышкой и с доской на руке, молодой, лет двадцати, тонкий, чистый, в простом, но опрятном кафтане, с волосами, расчёсанными на пробор, как у дьячков. Лицо у него было приятное, услужливое, и улыбался он так, как улыбаются люди, привыкшие стоять возле старших.

— Филат Ерёмин, — сказал он Ершову и поклонился. — При Мине Ивановиче. Третий год.

— Третий год, — подтвердил Минка. — Глаза мои. И руки. — Он посмотрел на свои руки. — Руки уж не те.

В приказной избе дьяк посадил Минку на лавку перед столом. Филат стал за его спиной, с ларцом. Ершов сел к своему окну. Дьяк сказал Минке, чтобы стал перед образами, и Минка стал, и дьяк сказал ему про Божью правду и про государево крестное целование, и Минка перекрестился и сел опять.

Дьяк велел подать кабалу.

Кабала лежала в ларе под печатью, в том же платё, в каком принёс её Сабуров. Дьяк снял печать при Минке, при Ершове и при Филате, развернул плат, развернул столбец. Подал Минке.

Минка взял столбец обеими руками, осторожно, как вещь, которую сделал сам. Поднёс к глазам. Пошевелил губами. Повернул оборотом.

— Рука моя, — сказал он.

— Вся?

— Вся. — Минка провёл трясущимся пальцем по оборо-

ту, по склейкам. — Скрепя моя. Я по сставам пишу вот так: чтоб имя через склейку шло. Половина буквы на верхнем листе, половина на нижнем. Кто склейку разнимет, у того и имя разойдётся. — Он поднял на дьяка глаза. — Меня так учил старый Пётр Ворошилов, царство ему небесное. Сорок лет так пишу.

Он поднёс оборот к самым глазам и долго смотрел на нижнюю склейку, потом на верхнюю.

— Моя, — сказал он. — Обе мои.

— А писал её ты?

— Я. — Минка повернул столбец лицом. — Рука моя. Вот — «Се аз». Это я так «С» пишу, с хвостом вниз. И вот — «Огрофена», это я через «О», я всегда через «О». — Он вёл пальцем по строкам, медленно. — И вот... — Он остановился. — Вот.

— Что «вот»?

— Пишу, — сказал Минка. — Рука моя.

— А что писал — помнишь?

Минка долго молчал. Он держал столбец перед глазами и смотрел на него не как на чужую бумагу и не как на свою, а как смотрят на собственный почерк в старой бумаге, найденной в сундуке: узнаёшь каждую букву и не помнишь ни одного слова.

— Дьяк, — сказал он наконец. — Я в год пишу их — сколько, Филат?

— С полтысячи, Мина Иванович, — сказал Филат из-за

его спины. — Кабал одних с полтора́ста.

— С полтора́ста, — повторил Минка. — Сентябрь — это у меня самое время. Соль, хлеб, лён. Каждый день по три кабалы. — Он положил столбец на стол. — Я помню, что Семён Иваныч приходил с вдовой. Это помню. Помню, что квасник был, он квас на всех лил, я ещё ругался, что на лавку пролил. Помню, Агафон перо брызнул. — Он помолчал. — А сколько рублёв — не помню. Что закладывали — не помню. Рука моя — значит, я писал, что говорили. Я пишу, что говорят. Я своего не пишу.

— Амбар — один или два?

— Не помню.

— Двор?

Минка открыл рот.

— Вы, Мина Иванович, тогда ещё сказали, — сказал Филат, мягко, из-за плеча, — двор писать — так с длинником. Чтоб потом не спорили. Помните? Я ещё длинник из Семёновой памяти выписывал.

Минка повернул голову, посмотрел на него снизу вверх.

— Сказал? — спросил он.

— Сказали. Вы всегда так говорите.

— Всегда, — согласился Минка. — Это я всегда говорю. — Он повернулся к дьяку. — Это я всегда говорю, — повторил он, будто извинялся. — Двор — так с длинником.

Дьяк посмотрел на Филата.

— Ты помнишь?

— Я столбец держал, — сказал Филат и опустил глаза. — Мина Иванович читал, я снизу подбирал. Потому и запомнил.

Ершов записал: «а подручный его Филатко Еремин сказал: Мина-де тогда говорил, двор писать с длинником». И ниже: «а сам Мина того не упомнит, а говорит: то-де он говорит всегда». Он записал, как было сказано. Ему не понравилось, как было сказано, и он не знал почему. Подручный помнил то, чего не помнил хозяин. Это бывает. Молодые помнят лучше. Он сам в двадцать лет помнил всё.

Дьяк спросил, где кабалу писали, сколько было листов, кто клеил. Минка сказал: на лавке, три листа, клеил Филат, Минка скреплял. Дьяк спросил, кому отдали. Минка сказал: Семёну, по обычаю, заимодавцу.

— Черновик оставался?

— Нет. Я с голоса набело писал. Филат листы клеил, я писал и скреплял.

Дьяк подумал.

— А у тебя записано, что писал?

— Записано, — сказал Минка с гордостью. — Филат, книжку.

Филат открыл ларец, достал тонкую книжку, сшитую из полулистов, засаленную, и подал — не Минке, а прямо дьяку, раскрыв на сентябре. Раскрыл, не ища: открыл сразу на нужном месте.

Дьяк прочёл.

— «Сентября в 21 день. Семёну Сабурову с Огрофеной Кондратьевой закладная. Взято четыре алтына». — Он поднял голову. — И всё?

— И всё, — сказал Минка. — Я пишу, кому и что взял. Что писал — в бумаге. Бумага у того, кому писал.

— Четыре алтына, — сказал дяк. — Это за три листа, с двором и длинником?

Минка подумал.

— С короткой я беру четыре алтына, — сказал он медленно. — А за долгую, в три листа, беру больше. Как сторгуюсь.

— А тут четыре.

— Значит, четыре. — Он помолчал. — Может, Семёну уступил. Семён свой. Мне Гаврила через него хомут делал. — Он покачал головой. — Не помню. Четыре алтына — значит, четыре алтына.

Ершов записал: «а в книжке его, Мининой, против того дни писано: взято четыре алтына. А с коротких-де кабал он берёт по четыре алтына, а с долгих больше, как сторгуется. А Семёну-де, может, уступил».

Филат стоял за спиной Минки, с ларцом, и смотрел в пол.

Дяк отпустил их. Минка встал, опираясь на лавку, поклонился. У двери обернулся и пошёл не к двери, а к Ершову, к малому столу у окна, медленно, держась за стену.

— Подьячий, — сказал он. — Дай-ка перо.

Ершов дал.

Минка поднёс перо к глазам. Посмотрел на кончик. По-

качал головой.

— Кто ж тебе так чинил, — сказал он.

— Сам.

— Сам. — Минка достал из-за пояса нож, маленький, тонкий, сточенный за сорок лет до половины. Взял перо. Руки у него тряслись так, что Ершов испугался за нож. Минка поставил перо на ноготь большого пальца, на левый, и чиркнул — раз, другой, третий, — и руки, пока он чинил, не тряслись совсем. Совсем. Ершов это видел. Минка расщепил кончик, подрезал, поднёс к глазам и отдал.

— Вот, — сказал он. — Теперь пиши.

И пошёл к двери, где ждал Филат с ларцом, и руки у него опять тряслись.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Счёт Сабурова

Сабурова дьяк велел расспросить у него на дворе, при книгах.

— В избу он книги не понесёт, — сказал дьяк. — Скажет, у него книги — что у попа Псалтирь, из дому не выносят. Сходи. Посмотри, что дал вдове, когда, при ком. Запиши.

— Один? — спросил Ершов.

— Пристав с тобой пойдёт. — Дьяк посмотрел на него. — И ты там, подьячий, не умничай. Он не вор. Он торговый человек. У него двор больше, чем у воеводы.

Двор у Сабурова был больше, чем у воеводы, или так казалось, потому что на нём было больше народу. Он стоял на посаде, за Гостиным двором, за высоким тыном, и, когда пристав постучал, ворота открыл не работник, а мальчишка лет восьми, без шапки, с деревянной саблей, и сразу закричал во двор: «Дядя Семён, к тебе подьячий с рыжим!» — и убежал.

Во дворе были: три избы, две клетки, амбар, конюшня, баня, колодец с журавлём, поленница в два человеческих роста, куры, гуси, собака на цепи, которая на них не залаяла, а только посмотрела, и дети. Детей было много. Ершов насчитал шестерых и бросил, потому что они бегали. У колодца две бабы, обе в тёмных вдовьих платках, полоскали бельё и ругались между собой, не зло, по-домашнему, как ругаются люди, которые живут рядом давно и ещё долго будут.

Сабуров вышел из средней избы сам. В рубахе, без каф-тана, с засученными рукавами, и Ершов увидел, что руки у него большие, рабочие, не приказчиьи, с белыми соляными трещинами у ногтей.

— Подьячий, — сказал он. — Пристав. — Он кивнул на крыльцо. — Заходите. Книги там.

В избе, в горнице, у окна, стоял стол, и на столе лежали книги. Три. Толстые, в коже, ровные, сложенные одна на другую, как кирпичи. Рядом стоял Лука, с пером за ухом.

— Это приход, — сказал Сабуров, показывая. — Это расход. А это — долги. Чьи мне и кому я. — Он сел. — Садись, подьячий. Спрашивай.

Ершов сел. Пристав остался у двери, прислонившись к косяку, и сразу стал смотреть в окно, на баб у колодца.

— Деньги вдове давал при ком? — спросил Ершов.

— На площади. При послухах. При Минке. — Сабуров открыл книгу долгов. Нашёл. Повернул к Ершову. — Вот.

Запись была рукой Луки, ровной, конторской, без завитков: «Сентября в 21 день. Дано Огрофене Кондратьевой в общий соляной торг, под закладную, восемьдесят рублёв серебром. Срок Велик день». Строка стояла в своём месте, между другими, выше и ниже — другие долги, другие рубли, другие сроки. Ничего в ней не было особенного. Ершов смотрел на неё дольше, чем было нужно, и ничего не увидел.

— Писал Лука, — сказал Сабуров. — Он у меня всё пишет. Я ему диктую. Я сам пишу плохо. Считаю хорошо, а

пишу плохо.

— Как вдова, — сказал Ершов.

Сабуров посмотрел на него.

— Как вдова, — согласился он. — Мы с ней одного теста. Только она баба. — Он закрыл книгу. — Ты, подьячий, хочешь знать, почему восемьдесят? Почему не двадцать, как она говорит? Я тебе скажу. Пиши, Лука.

Лука не взял пера. Сабуров на это ничего не сказал.

— Прошлой осенью, — сказал Сабуров, — медь пошла вниз. Ты помнишь. Ты тогда в Казани был. Весь посад помнит. Соль в серебре стоит, а платят медью. И у кого серебро есть — тот жив, а у кого медь — тот считает, сколько у него медью убытку в день. — Он помолчал. — Мы, соляные, — я, Гладышевы, Ерохины, она, — сговорились. Цену держать. Медью не брать, только серебром. Или медью вдвое. Чтоб торг не рухнул. Все согласились. Она тоже.

— Она тоже?

— Она тоже, — сказал Сабуров. — На крыльце у Гладышевых. Руку дала. — Он посмотрел в окно. — А через неделю стала брать медью. По серебряной цене. Не вдвое — по серебряной. Половина посада к ней пошла. Мои покупатели — к ней. Гладышевых — к ней. За месяц она нам торг обрушила. Не по злобе. Она так не со зла. Ей серебра не было, ей кредит отрезали, ей соль продать надо было, хоть как. Она и продала.

Ершов писал. Он писал быстро, и ему не нравилось то, что

он писал, потому что это было похоже на правду.

— А потом, — сказал Сабуров, — в сентябре, она пришла ко мне. Давай, говорит, Семён Иванович, вместе закупим. Ты — серебро, я — амбар, покупателей, сбыт. Мне — доля. Я подумал: ладно. Лучше её в одной упряжке держать, чем против. Дал. — Он постучал пальцем по книге. — Восемьдесят. Она говорит — двадцать. Я говорю — восемьдесят. У тебя кабала, у меня книга.

— А соли на сколько купили?

Сабуров посмотрел на Луку. Лука посмотрел в стол.

— На сколько купили — то в общем торгу, — сказал Сабуров. — Соль купили. Перевозчикам я платил. Подводы — я. Амбарщикам — я. — Он помолчал. — А она в октябре из общего торга вышла. Сказала: продам сама, свою долю. И продала. Опять медью. Опять дёшево. А я с перевозчиками до Николы рассчитывался. Своими.

— Это тоже в книге?

— Это в книге, — сказал Сабуров. — Лука, покажи.

Лука открыл книгу расхода. Показал. Перевозчикам, подводы, амбарщикам. Суммы были малые, по рублю, по полтине, по алтыну, но их было много, и они шли столбцом вниз, с сентября до Николы.

— А ещё, — сказал Сабуров тише, — у меня в сентябре своего серебра не было. Я Мокея, приказчика, ещё до Семёна-летопроводца в Нижний послал, за кожей на зиму, а вернулся он только к Филиппову посту. Всё ходячее серебро с

ним ушло. Я тогда по займам ходил — у Сурина брал, у Гладышевых. — Он помолчал. — Вот так и жил. С серебром в Нижнем, с медью в Казани и с ней в одной упряжке.

Ершов записал. Он записал «а серебро-де его в сентябре с приказчиком Мокеем в Нижнем было», — и записал не думая, потому что это было сказано между делом, о тяготах, и потому что он записывал всё. Он не сразу понял, что записал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.